

Саша Чёрный

«Лебединая прохлада»



*Часть сборника
Избранная проза*



Саша Чёрный
«Лебединая прохлада»
Серия «Солдатские сказки»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156832
Избранная проза: Эксмо; Москва; 2005
ISBN 5-699-14284-3

Аннотация

«Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился...»

Саша Чёрный

«Лебединая прохлада»

Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.

Дом крепкий, просторный. Прежде всего в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился, – мышам раздолье.

Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы поразвешивали – живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, жилым духом пахнуло.

С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда, помимо своей порции, еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хочь человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, – вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал, «Лебединая прохлада» – на одних тихих нотах, потому в закрытом помеще-

нии у командира нельзя ж во все трубы реветь...

А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал – прямо перина. В новые хоромы не переехал, – старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать... Да и домовые, они вроде кошек – к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.

Харч был готовый – на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога испод подгорелый добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовой еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спускали.

В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоям похаживает, мутным баском рывкает, – стекла по всем концам так и отзвучатся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по-мышиному поцыкивать... Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком – пехота, которые на крысах верхом – кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку – знак подает, – пошла война. Грызутся, кувыркком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад – по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит... Удовольствие.

Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, – ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мур-

ло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик ко-
чергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу, да
и выскочил.

Да и на крыше ему, кудластому, лафа... Зимой белые
шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы
красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности.
Дальний лес в мутном молоке дремлет... Дура ворона
сбоку на крышу подсядет, слепит домовый снежок да в зад ей
пальнет, – лети, милая, не загащивайся!.. И летом неплохо:
звезды, божьи глаза, над кровельным коньком играют. Со-
прет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по же-
лобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, –
не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла... В саду
сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет,
домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекидыва-
ет и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить...

Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши
кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Со-
ловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из
сада того густо наплывает, что не то что домовой – бревно
разомлеет. Вытащит он из-за водосточной трубы своей рабо-
ты жилейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка
Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится...

И вот тут, нежданно-негаданно, – загнали ему под самый,
можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой
музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется.

Днем не заснешь, – а когда ж и соснуть домовому, как не днем... Почитай, с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хоть башку в стружки зарой, хоть паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки – будто медные козлы через стеклянный забор скачут... Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается...

Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, – мундирчик с шеvronами над койкой повесит, – сейчас кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок... Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут – всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали... Сирень снопами рвут, – на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!

Нырнет домовой, как солнце сядет, под жимолость, на помошке своей серым катышком продернется, ан и тут обида:

квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-Пистон, все как есть приест, – хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи... На чердак вернется, – портки музыкантские на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.

Даже мыши и те сгнули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, – приказал в мышинные щели толченого стекла насыпать. Тварь божия ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои – не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь хлуп гусиный, – на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.

Вылез как-то домовый о полночь на крышу, к трубе придулился, лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж со стародавнего гнезда сниматься... Хоть дом сожги, – в золе под порогом ямку выкопает, никуда не подастся. Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.



Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, – все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:

– Ох ты, гусь с яблоками! Глянь-ка, братцы... Никак черт на нашем белье трепака плясал.

Сбежались музыканты, – вот так постирушка. По всем порткам, рубашам жирной сажей следки понатопаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала...

Подкатился тут старший унтер-офицер, подковами затоптал:

– Что ж энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так недоглядели? Почему такое?

Догляди-ка тут, – не часовых же к подштанникам ставить... Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Скрозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, – ведь эдак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо...

Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стены геликон-басы, – самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал ка-

пельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, – как прыснет из всех раструбов мелкой пылью керосин, – так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он завсегда перед командой, палочкой своей выкомаривает...

Затрясся он, раскрыл было рот, чтобы всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило... Выплюнул он с пол-ложки, – с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегаёт. Залопотал он тут, как скворец, – и слов других не нашлось:

– Что значит? Что значит?! Что значит?!

Ничего не значит. Помет на полу, а птички и видом не видать.

Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснушчатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчера́сь полная ведь была, – вот в чем суть!

Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, – хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как на белье, только керосином смоченные, на чердак вели... Заскучали тут многие...

Однако ж опомнился кое-как прибалтийский судак энтот,

приказание дал, чтоб чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с 5 охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик «наган» свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали, – хоть бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, – как кегли были расставлены. Да вместо шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох ты, господи! То-то вчерась ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.

Делать нечего, стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:

– Ку-ку! Шиш съели?..

Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.

– Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу...

Обнакновенно немец, – и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:

– Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому

я весь фатогеном провонялся. Фитиль в меня вставить – и лампы не надо...

* * *

Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, супризный вальс играть. Проверили они инструменты да заместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали, – при лампочке да при дневальном никакой сукин бес не накеросинит.

Сели в кружок, – кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит... И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем – ни дудка, ни окарина, невесть кто «Лебединою прохладу» высвистывает...

Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает... Кому ж играть? Все на местах. Экое ведь дело!

Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, – место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, – тьфу, тьфу, – облапишь, что и рот набок сведет... Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали – уснула команда.

Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не упрaviшься... Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся – так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встряхнул, – не блин армейский, своя собственная, – края пирожком загнул. Соколом на голове сидит... Полосатые оплечья слюночкой освежил. Эх вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке... Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют...

Музыканты – они, черти фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят – каждый сапог на виду, то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и дозволяли – адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такая команда, хочь в Париж посылай.

Обдернулся солдатик, – кажись, все. А как шароварки свои просмотрел, видит, пуговики подтянуть надо, – нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую выправку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и летит...

Прихватил он все, как следовает, щука зубами не отгрызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал... Музыканты, они ремешками не затягиваются – и форс не допускает, и для

легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особенно на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из грудей в подвздошную скважину шла.

Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся, – ан почудилось ему, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на него во все глаза смотрит... Прикрыл солдат бровки ладонью, воззрился в темную ночь, – так вдоль стены и метнулось чтой-то... Да еще фыркнуло, шершавое зелье, – по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.

Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый, кларнет с переливом, не то чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопал, а она к тебе так всем арсеналом и поворачивается...

Кто ж, лярва, сквозь окно подсматривал?.. Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышь... Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижином безвинным забился. Ишь как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и в полколебания нет... Спаси, господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!

Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жувелицу по нотам пальцем под-

талкивает, чтобы правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые фаготы дуют. Не в лесу сидит, – наплевать!

Сквозь фортку оркестр соловьиный достигает, – вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!

Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить, – ан слышит, будто дверь скрипнула... А может, и не скрипнула, – солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль коек бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел, – и жуть на него наплывает, и ночная муть по рукам-ногам пеленает. Вздремнул не вздремнул, – бык его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепкое слово вырезать.

Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.

* * *

Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить – слышит, насупотив в команде крик, старший унтер-офицер истошным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещение заскочил. Хоть и воль-

нонаемный начальник, скомандовал ему навстречу дневальный: «Встать, смирно!» Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит... Что такое?

Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на ем нет.

– Ох, ваше скородие... Пропали мы все с потрохами. Как к командирше команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны?!. Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать, – совместить никак невозможно!..

Началась тут, братцы, завирушка... Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, – знаками показывает, что ни сном ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде, – через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?

Послал капельмейстер утреннего дневального – на одном ем брюки в полной исправности были – к командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:

– Беги четвериком! По сторонам не смотри... На чужой кровать рот не раздевать. Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин...

Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на

всякий случай все сундучки, на всю команду пять запасных пуговиц набрали – музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь ненадежная: духовой инструмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.

Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает... Слышат они – конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварками вскачь примчалась? Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает, – у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, – тут засуетишься!..

– Почему, – кричит, – Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собрамшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?.. Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете.

Капельмейстера аж в фальцет вдарило:

– Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают... Сначала казните, потом выслушайте.

И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. Притих адъютант, – видит, дело цинковое... А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш-маршем к командирской фатере.

Хочь и с запозданием, однако вальс «Лебединую прохладу» пронзительно сыграли, – будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейсте-

ру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить... Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.

Командир полка между тем нет-нет да и насупится: ментальность любил, не приведи бог, – а тут против расписания на двадцать минут оркестр согрешил.

Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все, как есть, и доложил: нечистую силу под арест не посадишь... И про портки со следами, и про керосин, и про пуговики... Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает...

А капельмейстер, судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:

– Или я, или черт... Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю.

Ну, тут полковой батюшка его и причесал:

– Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговики с мясом вырезал, чтобы казенное добро дотла изничтожить... А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует... Уж вы и не супротивляйтесь, – он вас доест. А молебен никакой не поможет... А ежели желаете доброго совета послушать, попросите через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ре-

монт идет, – другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают...

Городской голова тут же насупротив сидел. С капельмейстером чокнулся и говорит:

– Ладно, рижский бальзам... Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне «Лебединую прохладу» на громких нотах сыграешь... Тихая музыка меня не берет... а я уж по тебе, как помрешь, панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?